

Август на исходе. Еще месяц-другой, и облетит клен, который, распускаясь по весне, семь лет подряд загораживает вид из Володиного окна на исторический центр. К концу октября уже чьему-нибудь новому взору откроется россыпь золоченых монастырских куполов и на холме — остатки белокаменного детинца семнадцатого века: два фрагмента старой стены. Половину кремля разобрали в тридцатые годы на нужды метростроя и вывезли в столицу, а остальное растащил на камни частный сектор уже в девяностые. Нынешние домики, облепившие холм до самого верха, не чета средневековым посадским клетям-лачугам, что Володя видел на макете в краеведческом музее — теперь все больше в ходу кирпич и сайдинг. Сейчас удачливые хозяева, будто соревнуясь, перекрывают крыши черепицей и монтируют спутниковые тарелки — целое «радарное» поле белеет на северном склоне... Река под холмом обмелела, заросла палмой и ольшаником.

Вид портят грязные, крест-накрест, полосы на окне. Когда в том году в июне был ураган, тот клен, что растет у подъезда, исхудалой угловатой веткой разбил внешнее стекло. Володя наспех прихватил крупные осколки скотчем, надеясь, что мера временная пока не закажет стекольщику новое. Не сбылось. Прозрачная лента потемнела, истрепалась, а осколки ходят ходуном и почти что поют на ветру, звякая друг о друга... Иногда ночью кленовая ветка, виновато похлестывая по увечному окну, нудно просится внутрь...

Володя живет, а точнее, доживает оставшиеся ему две недели в пятиэтажном доме постройки тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Фасад с барельефной датой и часами на башенке-обманке отреставрирован и, умытый дождем, смотрит на вычи-

ценную площадь, но из комнаты эту часть города не видно — окно, полузакрытое кленом, выходит на другую сторону. Задний двор — небурный, нехожий — срывается книзу в овраг рыжими промоинами дороги, убогими коробками гаражей, послевоенных кладовых и сараек. Ниже заросли и речка, за которыми подъем в кремлевскую гору, удобренную костями татар и русичей, бившихся на этом склоне одни с другими в достопамятные времена. И на костях, как на сваях, закрепился, мертвой хваткой цепляясь в холм, новый частный сектор.

Комната в коммуналке в доме с часами была Володиной единственной недвижимостью. Третий этаж, квартира пятнадцать дробь два. Площадь имени величайшего вождя или злодея — это кому как больше нравится, а Володе уже и не важно. Дом двадцать пять и тоже с дробью. Это его последний городской адрес. Рядом, в центре площади, фигура в два человеческих роста держит в чугунной руке свернутую в трубу литую бумагу — скорее всего, по задумке скульптора, это декрет о земле.

Подъезд темный, пропахший сыростью из подвала, кажется уже совсем чужим и то ли приветствует, то ли провожает Володю парой взметнувшихся по лестничному пролету котов и паутиной на облезлых стенах.

Сделка состоялась в середине августа, и по договору ему позволили еще немного пожить здесь, пока он не переведет деньги в соседнюю область. Как странно: тамошние люди продают дом в тихой, почти не тронутой цивилизацией деревне, чтобы уехать в районный центр и ютиться, как это делал Володя последние семь лет, в какой-нибудь четырнадцатиметровке, а он, оставляя эти прожитые годы на память дальнему подмосковному городку, уезжает в лесную глушь.

Ксюша ему не нравилась ни в последнюю их встречу, чуть менее полугодом назад, когда она, со скандалом вырвавшись из родительского дома, почти что по первому свистку приехала к нему на майские праздники, ни тогда, еще в другой жизни, в Москве. Нет, она в целом была «ничего», особенно если не вглядываться и не привередничать, как это раньше любил делать Володя. В Ксении даже присутствовало что-то такое, от чего наутро, после дня, проведенного вместе в кино или на выставке, на качелях в Нескучном саду или на прогулке по набережным все ее маленькие недостатки мнились вдруг шармом, изюминкой, признаком редкой, на ценителя с изысканным вкусом, породистой красоты. Но при ближайшем рассмотрении, едва они встречались вновь, его взгляд становился критичным, беспощадным, въедливым: взгляд перфекциониста, взгляд-микроскоп, Володя досадовал на разные мелочи, которые нудными занозами начинали саднить в эстетствующей душе, рушили идеал, рвали в клочья сотворенный за ночь канон. Иногда в метро, когда они стояли, держась с ней за руки, на них посматривали другие молодые люди — скользнут глазами по девушке, присмотрятся, оценят всю целиком и, отводя охватистый озорной взор, улыбнутся кавалеру сочувственно: «Ну-ну! Не повезло тебе, мужчина, с пассией! Не пара вы с ней!» И Володя отмахивался от странных мыслей: а вдруг эта полная сил молодежь своим сочувствием имела в виду как раз обратное, что молодая, оригинальная, яркая, но, увы, не красавица искусствовед Ксюша и он, не успевший еще повзрослеть до зрелого мужчины, но уже скучный стареющий реставратор Володя, и есть идеальная пара? А Ксения, прислонясь к поручням возле вагонных дверей, бывало, потупится как-то скорбно, печально, улыбка углами вниз, думая, что у нее, наконец, любовь. Володя проникается, и жалко ее до безумия, потому что глаза у нее печальные, медово-шоколадных оттенков, и вроде красивы сами по себе, но слишком близко посажены к тонкому, длинноватому для ее лица носу, и шикарная вишнево-золотая коса ниже талии лишь подчеркивает, что дюже широки бедра, и зубы далеко не жемчуг, грудь маловата, а талии, глянешь, и вовсе нет. Ксюша яркая — этого не

отнять, даже позировала, как она говорит, какому-то живописцу для «Речной нимфы» в итальянском стиле, но Володя недоумевал: уж какая тут может быть нимфа с розовыми ушами, с розовой кожей у корней волос и розовыми кляксовыми пятнами по всему телу — от малейшего волнения, расстройства, стыда, желаний... А вдруг ничего лучшего, более соответствующего его тонкому художественному вкусу он уже и не найдет? Вдруг Ксюша — его крест — вдруг она, как он подумал, хороня себя в ее скорбной улыбке, его последний причал? Ведь когда еще только они стали встречаться и изредка ночевать друг у друга, ему уже было тридцать девять, а ей едва исполнилось двадцать шесть девичьих, невинных лет, и ее родители восприняли весть о «престарелом» друге дочери в штыки.

— Старый. Профессия грязная, будешь ходить вечно перепачканная в его красках! — мама любила чистоту, опрятность, гигиену.

— Надеюсь, это не всерьез? Ну не замуж же за такого? — папа мечтал совсем о другой партии для своей «принцессы».

И когда Володя лишился своей московской квартиры, поселившись в области, Ксении запретили даже думать о нем:

— В провинции грязь, тараканы, антисанитария — мы же знаем, мы ведь жили...

Раньше он приводил ее в свою громадную трешку на Алексеевской и медленно покорял своей интеллигентской неспешностью, за которой скрывалась робость, своей старомодностью, своим собранием этюдов девятнадцатого века.

Чем же зацепила его она? Невинностью? Непроявленным, постоянно ускользающим шармом, которого, приглядеться, и не было никакого в помине? Может быть, общими с ним, как казалось на первый взгляд, интересами? Или, неужто, как любого среднего твердолобого самца, своей некрасивой яркостью? Так чем же?

Володя в ту пору консультировал в аукционном доме, выполнял на заказ поновления, готовил живописные лоты к торгам, чтобы все блестело стариной, тайной, временем, смотрелось солидно и дорого. Таким же дорогим и чинным выглядел интерьер Володиной квартиры на проспекте Мира в сталинском доме, так же солидно смотрелся и он сам — в черной водолазке, немецком сюртуке и при серебряных часах на цепочке.

А Ксюша долго, вдумчиво и талантливо писала диплом.

...Слишком сильно все изменилось с тех пор: который год он жил в коммуналке без малого в сотне километров от столицы, в захудалом районном городишке, даром, что со славной древней историей. И ходил потеряннм, махнувшим на себя рукой неряхой — грязные штаны да лоснящаяся от старости куртка. Раньше для таких, как он было в ходу меткое слово «бич» — бывший интеллигентный человек. И яркая Ксюша теперь любила его только на расстоянии.

Комната изначально числилась за Павлухой — Леней Павловым из городской наглой братвы. Эта банда и забрала у Володи ту самую наследную московскую трешку, в которой реставратору покорилась после долгих ухаживаний Ксения. Бригада в лихие годы так разошлась в криминальном раже, что городка и окрестностей ей стало мало, братва начала «дерзить» в первопрестольной и даже, мало что соображая в новой для себя сфере, умудрилась дебютировать в антикварных делах.

Володе позвонил человек, по голосу приблатненный, в интонациях за деланной распальцовкой читалась неуверенность дилетанта, влезшего со свиным рылом в калашный ряд.

— Есть икона. Семнадцатый век. Надо отреставрировать. Это подарок серьезному человеку — дань, так сказать, уважения.

Володя хорошо понимал, откуда у людей с такими голосами берутся иконы семнадцатого века, и хотел было положить трубку, но названная сумма гонорара заставила обратить на себя внимание и уточнить детали:

— Иконография?

Кажется, его не поняли, и вопрос пришлось подкорректировать:

— Сюжет? Что изображено?

— А-а... — наконец, сообразил человек, — женщина с ребенком...

Володя взялся. Даже, увидев Богородицу воочию, был восхищен тем, что ему повезло прикоснуться кистию к явно алтарному намоленному веками образу.

Он сделал все на совесть и в срок, отдал работу, и Павлуха, просияв, щедро расплатился.

А вскоре Ленкина братва жестоко избивала реставратора в подъезде: дескать, отданная после трудов икона — новодел, а Володя якобы подменил ею оригинал, оставив бесценный шедевр себе. Кто именно его «кинул» — сам Павлуха или «серьезные люди» — Володя так и не узнал. Его поставили на «счетчик», съевший за считанные недели гонорар, коллекцию этюдов, накопления и квартиру. Павлуха, подумав, что хороший мастер еще может пригодиться, без крыши над головой одинокого реставратора не оставил и в обмен на московскую квартиру отдал ему свою областную комнатушку, которой и сам владел недавно.

С тех пор минуло несколько лет, Павлуха не появлялся, поначалу иногда звонил, так, поговорить за жизнь с человеком искусства, с которым свела Божья мать Казанская, узнать, чем «терпила» живет-дышит, лишний раз подпугнуть для остротки... А потом пропал после того, как сообщил, что продал бывшую Володину недвижимость солидным и опасным людям. Позже был слух, что Павлов отбывает срок, еще болтали, что его застрелили свои или конкуренты, но никто не проверял...

— Твой Павлуха полный отморозок! — когда-то предупреждала мощно сложенная соседка Людмила из комнаты дробь один. — Если ты той же породы, то учти — отмутужу и сожгу вместе с домом! Мне этой коммунальной халупы не жалко. Все равно жизнь в ней не мила. Я самбистка, закалка у меня старая, советская, себя в обиду не дам!

Но Володина порода была совсем другая, настолько до робости интеллигентная, что даже на кухню он старался не ходить, когда там, наглухо перегородив квадратным станом все подходы к плите и раковине, гремела шкворчащими кастрюлями баба-богатырь.

— Людмила, а кто здесь раньше жил, до Павлова? — пытался он выяснять время от времени.

— Ой, и не спрашивай, — зло отмахивалась соседка. — Что до Павлова грязь и вонь, что с Павловым. Раньше ацетоном тянуло и в краске все ходили, а как Ленка въехал, блат-хату тут устроил явочную, сам редко являлся — деловой, все в Москве пропадал, а здесь... То шпана с пистолетами живет, то бабы голые в мою ванну мыться лезут. Ор, пьянки... Тьфу, толчок хлоркой после них чистила каждый раз, вдруг больные? Это я, я всю сантехнику нашла и приволокла на своем горбу! Сама! Леня ни копейки не дал. Ну, это ж надо, в моей ванной — шары бандитские!

Словно дойдя до кипения вместе со своим супом, Людмила потихоньку остывала, выключала газ в плите, шваркала шумовку в раковину и туда же гадливо сплевывала. И успокоившись после очередной волны дурных воспоминаний о Ленке, вдруг принималась плакаться:

— Я ведь дом в поселке продала, в совхозе бывшем, чтоб комнату эту купить, двадцать километров отсюда... Там ни газа, конечно, ни водопровода — топи дровами или углем, но... жалею теперь. Думала, в городе поденжнее будет да полегче, а то на то, и выходит. Ты спрашивал, отвечу: художник тут жил до Ленки, вроде тебя, старый только совсем. Рассеянный. Я прежнюю раковину никак забыть не могу, вся была краской загажена, кисти в ней мыл, здесь, на кухне. Ты вот аккуратно за собой моешь, даже не скажешь по тебе, что художник...

— Да я и не художник,— ответил в тот день Володя,— реставратор...

— А лаками все равно попахивает,— не преминула соседка ввернуть намек.

Вселяясь, никаких живописных следов в комнате он не застал. Павлуха, понятное дело, затеял косметический ремонт после того старика, не любоваться же «бандитским шмарам» на чужие муки творчества...

— А как его фамилия была, этого художника?

— Зотов. Известный он,— помолчав, отозвалась Людмила.

— Зотов?!

Володя бывал в местном краеведческом музее, видел образцы его этюдов: самобытно, и манеру не спутать ни с чьей другой! И когда-то в Москве на аукционе промелькнули редкими и жутко дорогими лотами зотовские выпукло-барельефные вещицы из ранних, в массивных резных рамах, крашенных под бронзу. Так старик писал и оформлял свои работы, чтобы в итоге получался не легкий гладкий образ, а тяжелая зримая картина-вещь — весомая, скульптурная, основательная.

Людмила промышляла помойками — уходила вечерами с тележкой и обшаривала, где баки, где кучи, в поисках цветных металлов: медных катушек, плат, алюминиевого лома. Часто в сумерках возле домов можно было услышать ее басовитый клич, которого боялись окрестные бомжи:

— Я самбистка! Мне все равно! Жизнь моя и так насмарку! Пришибу, не поморщусь! Моя территория!

Временами одного из той рвани, которую прогоняла от мусорных баков, крещеного татарина по имени Дамир-Иван, Людмила брала домой. Отмывала тоже чуть ли не в хлорке, как после «шмар» унитаза, и оставляла, грустного и трезвого жить с собой до тех пор, пока мужика не одолевала тоска, и он не сбегал от благодетельницы на неприятную холодную волю. Татарин Дамир был половинным и внешность имел такую же, как и большая часть рязанских, тульских да калужских мужиков: сивые лохмы и серые глаза с косоватым, когда смех растягивал скулы вширь, прищуром. Ночами Володе было неприятно слышать за стенкой возбужденный соседкин шепот, когда под мерный скрип койки она, невзирая на Дамиров православный крест, низким голосом называла мужика: «Мой басурман!» и всхлипывала от приступа внезапного счастья.

С помойки она притащила к себе не только сожителя, но и всю комнатную обстановку, которую регулярно обновляла, заражая всю квартиру оживающей от тепла и человеческого духа клоповьей молодью. Мелкие прозрачные твари бегали, словно через стены, селились в Володиных шкафу, диване и ночами не давали спать. В санэпидстанции сказали, что у молодежи есть специальное название — нимфа, и очень удивились внезапному Володиному смеху. Комнату приходилось несколько раз протравливать, пока до Люды не дошло, что от добра, добра не ищут, и мебель с коврами у нее и так хорошие, других не надо.

За окном поредела кленовая крона, на горизонте, за кремлевским холмом, стал виден монастырь. В щетине строительных лесов — проблески свежей позолоты. Поновляли, старались успеть к очередному Покрову. Володю изредка посещали мысли о послушничестве, однажды, на пике религиозного вдохновения, он собрался было идти беседовать с настоятелем, но по дороге его облаяла собака, а у монастырских ворот обматерила юродивая, и он не рискнул. К тому же, воспоминания о Москве не давали покоя, сподвигали непременно выстоять в мире, манили вернуться в азартное чрево большого города.

Однажды Дамир после очередной вольницы оказался снова в их коммунальной квартире: был уже прощен, вымыт в жарком пару и чистил на кухне картошку. Вечерело. Людмилы не было — ушла, видно, на промысел.

— Иван, я давно хотел вас спросить...— осторожно начал Володя, тщательно промывая под струей воды тончайшую колонковую кисть.

— Лучше — Дамир,— подавленно поправил татарин и тихо спросил: — а выпить нету? Мне чуть-чуть, чтобы выветрилось до прихода Людмилы...

— Есть. Как раз чуть-чуть.

Володя принес бутылочку с настойкой и плеснул в стакан.

— Дамир, так вот...

— Теперь можно — Иван,— сипло оборвал собеседник, занюхал горькую жидкость желтой сырой картофелиной и, укусив кусочек, упокоенно захрустел.

— Вы давно живете в городе? — Володя решил задавать вопросы прямо, поняв, что имеет дело с человеком простым и открытым.

— Да я родился тут. Все меня знают, каждая собака,— охотно отозвался Дамир-Ваня, и залюбовался пятнами на потолке, под которым покачивалась и весело жужжала уютная пыльная лампочка.

— И вы знаете всех?

— Да мно-огих...

— И художника, который здесь жил раньше? В моей комнате, еще до Павлухи?

— Зотова, что ли? Конечно, знаю,— с легкостью сказал татарин, потом нервно повел носом, шмыгнул и поправился,— знал.

Володя вдруг пожалел о том, что разговор этот не состоялся раньше, что он в глубине души Дамира презирал и сторонился этого бесхитростного человека, столь униженного властной бабой и жизнью. А следовало бы не задирать нос, лучше относиться к людям и не гнушаться теми, кто потерял себя в последние десятилетия. Сам-то он, чем лучше? Вышло так, что он все эти годы жил в этом райцентре гордым отшельником, и кому принес этим радость, кого осчастливил?

— И что с ним?

— Умер. Давно. Родня какая-то дальняя комнату сразу на торги выставила. А Павлуха купил. Посадили Леньку за какую-то ерунду, слышал, наверно? Ну, говорят, выйдет скоро по УДО. На рынке народ судачит.

Собеседники помолчали немного. Володя задумчиво слушал лампочку. Потом Дамир отглотнул еще.

— А Зотов старик чудной был.

Кстати, на барахолке сейчас его картину продают... Деревенский пейзаж, исторический. Володь, ты это... Сам-то выпей... Нет?

А Володя молчал и в тревожном мерцании кухонного света изводил себя насущными вопросами: «Неизвестно, на что бандита Павлова сподвигнет тюрьма: вдруг решит остепениться? Где он надумает жить, когда выйдет на свободу, в какой из своих многих хат? Остались ли они у него? Выйдет по УДО, а квартиру мою бывшую продал. Куда пойдет теперь? Сюда? А куда я? Надо что-то решать. Да и в Москву пора возвращаться, нагостился уже на сто первом километре. Вот только как вернуться? Жениться? О-ох... Позвонить надо, позвонить Ксюше, если еще не выдали ее замуж привередливые родители, кому же еще...

Барахолка вытянулась вдоль полукилометрового железного ангара, в который, как городская речка в трубу, был закован прежде широкий и бурливый поток местного вещевого рынка. Народ, пройдя до конца по тесному руслу, накупив тряпок, модных, новых, актуальных, выходил на свет божий и расслабленно возвращался назад по широкой тенистой аллее. На всем ее протяжении, под деревьями, росшими напротив жестяной гофрированной стены рынка, сидели, стояли, переминались поодиночке, группами, иногда под гармонь или песню, кто с чем, продавцы старых вещей. Торговали, в основном, пенсионеры, нищая братия и проходимцы — скарбом из до-

ма: вязаными носочками, зачитанными книжками, чем-нибудь с помойки, что мнилось востребованным и сулящим барыш. И особняком, с осознанием своего права здесь находиться, того права, которое дает утонченный товар и связи, стояло хорошо одетое жулье со всей той предметной мозаикой старинного быта, которую называют антиквариатом.

У них, у жучков-антикварщиков, хорошо зная подноготную их ремесла, Володя и нашел замшелую, пыльную от скитаний зотовскую картину-этиюд «Русь небывалая», тускло подписанную с обратной стороны — «Зотов. Пленэр в деревне Заречье, Тверская область». Торгуясь, жулики упирали на оформление. «Одна рама чего стоит!», — сказал очкарик в черном кителе, с усиками, стриженными под австрийского ефрейтора начала века. — Ну, музейная ведь рама! Сам же понимаешь! Третьяковка отдыхает!»

Потом продавец что-то уронил и торопливо нагнулся — оказалось, собрать с земли рассыпавшиеся веером открытки. С факсимильных карточек глядел все тот же образ бесноватого австрияка — в солдатской шинели, в штатском, наконец, во френче и надвинутой на рачьи глаза фуражке «седлом». Поклонник чужого фюрера казался испуганным, будто его поймали за каким-то очень срамным, всеми поругаемым делом. А Володя был рад и невежеству продавца, и его страху, рад, что, сосредоточившись на своих открытках и достоинствах тяжелой рамы, самое ценное — работу тихого провинциального гения Зотова, теперь уступят ему задешево.

На полотне была изображена деревня, каких до сих пор реставратор воочию не видел, северной планировки дворы, избы с резными коньками и причелинами, колодцы-журавли... По очертаниям природы, по тому восхищению, с которым, чувствовалось, автор ухватил и набросал пейзажную и архитектурную канву, наметанному Володиному глазу стало ясно, что деревня существует на самом деле и она вовсе не вымысел, а такова и есть в реальности, какой ее передал на холсте художник. От пейзажа веяло той изначальной, неведомой уже, лишь в сказках сказываемой дохристианской, домонгольской и даже докняжеской Русью, которую нигде больше не увидеть ни в городах и пригородах, ни в селах, ни в кино. И четыре фигуры, вписанные в пейзаж, в белых льняных рубахах, подпоясанные кушаками, были небрежно набросаны со спины: как бы уходят крестьяне не то на общинные работы в поле, не то и вовсе долой из истории.

Был дождливый сентябрь, снаружи кирпичную кладку дома косо заливало студеной моросью. Стены пятиэтажки, возведенной еще в пылу индустриализации двадцатых годов, за последующие восемьдесят лет состарились и теперь впитывали влагу, словно песок после засухи. К ранним холодам засуетились коммунальщики. Воду, пока еще стылую, подали внутрь, в проржавевшие трубы, и комнатные батареи отопления уже неделю плакали конденсатом в черную плесень половиц. Не лучшее место для исторического пейзажа кисти хорошего мастера, но другого помещения у Володи не водилось, да и из этого, того и гляди, каким-нибудь криминальным способом его выкурят, когда выйдет из тюрьмы, бандит Павлуха.

Полотно с деревней, с рекой и небом, уходящими книзу и кверху в тяжелое подрамье, висело теперь на гвозде, который хозяин с легкостью вбил, даже, как самому показалось, вдавил в сырую рыхлую стену, отделявшую комнату от слякотного внешнего мира. Выдержат ли гвоздь и волглая кирпичная крошка такую тяжесть? Рама деревянная, с фигурными гипсовыми накладками, крашенная под бронзу, и сам холст, со многими слоями густых масляных наляпов — все вместе тянуло килограммов на десять. Пейзаж за годы скитаний по барахолкам, вернисажам, чуланам, квартирам и гаражам пропах плесенью, нафталином, пихтовым лаком, табаком и клопами. Как, впрочем, пропах всем этим за века и приросший бараками, промзонами, многоэтажками — кирпичными, бетонными, промышленными — издревле мона-

стырский и ратный город. Теперь выдавший виды холст форматом полметра на метр, наконец, попал в умелые руки, и Володя счел своим долгом спасти шедевр, вернуть ему первоначальный лоск. Сделает это, и останется позади череда промежуточных владельцев: мелких антикваров, агентов, перекупщиков, старьевщиков и горе-ценителей, отчистятся пятна гаражного мазута и грибка. Работа заиграет, наберет глубину, перспективу, цвет, обретет достойное место в какой-нибудь частной коллекции. Вопрос, остались ли у Володи связи в Москве, найдется ли, кому и как предложить спасенное творение? И снова, как мантру, он повторял: «Позвонить, позвонить Ксюше. Она же искусствовед, может, возьмется, подскажет, кого заинтересовать, напишет статью... Позвонить и пригласить ее приехать, в конце концов! Хоть на Новый год... Только захочет ли она с ним знаться после такого перерыва?»

К новогодним праздникам Володя закончил реставрацию пейзажа с общинной деревней и, гордясь работой, ждал в гости из Москвы Ксению, свою давнюю любовь-привязанность, с которой развела когда-то судьба. Коммунальщики наконец-то заработали как надо — к батарее не прикоснуться, в комнате стало тепло и сухо. Молодую подругу, значительно моложе его, все еще яркую и с той же толстой, ниже пояса, тугой вишневой косой, на Новый год не отпустили родители, она вырвалась лишь к Первомаю, приехала, улыбаясь по-прежнему грустно и влюбленно, но в глазах затаилось сомнение. Правильно ли она поступила что, хоть и выдержав паузу приличия, но все же сдернулась с места, ждала на вокзале, почти два часа тряслась на отвратительных жестких лавках вагона? Она нарушила родительский запрет. Пара они все-таки — искусствовед и реставратор, или все это лишь долгий морочный нелепый самообман? В настроженной задумчивости осталась ночевать вместе с суженым на узком раскладном диване.

Но сна не получилось — всю ночь москвичку кусала маленькая белесая очень верткая тварь, которую с трудом увидели, а изловить так и не смогли — клоп спрятался на стене в старой зотовской картине, между холстом и рамой. Ксюша дрожала, всхлипывала, теряла голос от жути, которой, мгновенно ее отрезвив, обернулась реальность. Невероятно: как ее Володя мог так низко пасть — постель кишит насекомыми! Как он, все-таки, постарел и опустился за эти годы! Для кого она берегла себя все это время, тешась пустыми надеждами: поживет, поднимется, вернется в столицу на белом коне. А мама была, оказывается, права... Старый, грязный...

— Это нимфы! — пытался объяснить он.— Нимфы, понимаешь? Людка, наверно, притащила...

И он снова, на этот раз нелепо и невесело, захохотал. А гостя заплакала.

Утром, еще затемно, Володя взглянул на Ксюшу, на общинных крестьян, поблескивающих свежей краской, и принял решение: в любом случае, все уже в прошлом — он едет в заветную деревню Заречье в Тверскую область, где наобум, по объявлению в газете, даже не взглянув, купит старый дом с участком. И в этом доме, в красном углу, будет висеть зотовская картина «Русь небывалая». Этим же утром на первой электричке печальная, злая, покусанная, в малиновых дорожках волдырей и розовых пятнах горя, гостя отбыла восвояси.

Уездный город сиял ей вслед золочеными куполами недавно отреставрированных монастырских храмов.

